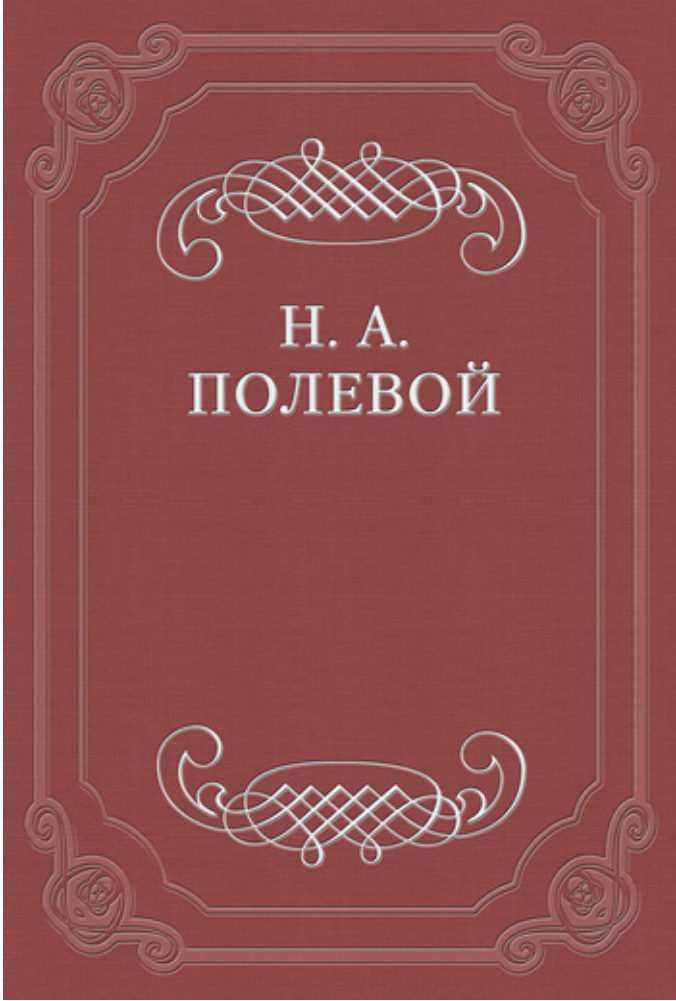




Н. А.
ПОЛЕВОЙ

Николай Алексеевич Полевой

Эмма

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=663635*

Избранные произведения и письма: Художественная литература; Л.: 1986

Аннотация

«В отдаленной части Москвы, именно в Немецкой слободе, до нашествия Наполеонова было много милых, веселых домиков и больших боярских домов. Теперь это изменилось: Немецкая слобода застроена фабриками, заводами, казенными училищами; только развалины, обгорелые в 1812 году, видны от большей части прежних боярских домов и вывески пансионов застилают собою стены обширных палат вельможеских, уцелевших от пожара двенадцатого года или возобновленных после него...»

Содержание

I	4
II	8
III	14
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Николай Алексеевич Полевой

Эмма¹

*Look on a love which knows not to despair;
But all unquench'd is still my better part,
Dwelling deep in my shut and silent heart
As dwells the gather'd lightning in its cloud,
Encompass'd with its dark and rolling shroud.
Till struck, – forth lles the allethereal dart!²³*

Байрон

I

В отдаленной части Москвы, именно в *Немецкой слободе*, но нашествия Наполеонова было много милых, веселых домиков и больших боярских домов. Теперь это изменилось: Немецкая слобода застроена фабриками, заводами, казенными училищами; только развалины, обгорелые в 1812 году, видны от большей части прежних боярских домов и вывески пансионеров застилают собою стены обширных палат вельможеских, уцелевших от пожара двенадцатого года или возобновленных после него. Прихоть перенесла обиталища знатных людей в другие части Москвы. Но когда все это было не так, до 1812 года, говорю я вам, в Немецкой слободе из числа великолепных домов вельможеских великолепнее других был дом князя С***. Тенью своею застилал он всю улицу; обширный сад, окруженный каменною стеною, с чугунными фигурными столбиками по тротуару, помощенному чугунными плитами, и с железными цепями от столбика к столбику, примыкал к нему с одной стороны. Огромные старые деревья видны были из-за садовой стены, и гордо шумели вершины их, равные с вторым этажом княжеских палат. С другой стороны дома, похожего видом на старинный фигурный комод, с раковинами на полукруглых окнах и с обширным балконом, окруженным фигурною решеткою, были исполинские ворота. Сквозь их железные, всегда растворенные решетки открывался обширный мощеный двор с флигелями, где помещалось ста три дворовых людей, бывших для услуги при князе и княгине, жен их и детей. Двор этот вдали оканчивался чугунною решеткою и опять железными симметрическими воротами, ведущими в регулярный, стриженный сад. Об обширности сада судите по тому, что Яуза текла через него.

Таков был дом князя С***. Подле этого обширного, построенного во времена императрицы Елисаветы⁴ дома рядом находился домик, деревянный, обитый тесом, выкрашенный серою краскою; и – если бы счастием надобно было выбирать себе жилище по сердцу, не знаю, едва ли не этот домик выбрало бы оно себе и едва ли не предпочло бы его огромному соседу, великолепному княжескому дому. Идя поутру мимо серого домика, редкий прохожий не останавливался, видя сквозь светлые стекла его в небольшой зале прелестную картину вроде картин Августа Ла-фонтена: каждое утро за большим столом сидели тут трое милых детей – настоящие Грёзовы головки. Дети сидели и учились; в стороне, под окном, всегда сживал тут же в больших креслах старик с дымящеюся трубкою и с книгою или с газетами в руках. Его не умел бы написать Грёз, потому что он не умел писать этих добрых немецких лиц, этих длинных седых волос, внушающих какую-то невольную почтительность. Грёз не мог бы написать и еще двух лиц, которые можно было всегда заметить сквозь светлые окна

⁴ ...во времена императрицы Елисаветы... – Годы правления императрицы Елисаветы Петровны – 1741—1761.

серого домика: старушки в огромном чепчике, с очками на глазах, заботливо занятой вязанием или штопаньем чулков, – истинного изображения доброй немецкой хозяйки, и молодой девушки, которая учила детей, сидя с ними за большим учебным столом их.

Люблю я эти готические лица немецких стариков и старушек, смолода краснощекие, прикрытые русыми кудрявыми волосами, украшенные голубыми глазами, и тихо, постепенно перешедшие к седым волосам, морщинам и выражению доброты, откровенно высказывающей вам всю жизнь, за которую едва ли не всякий день благодарили они бога! Иногда и на этих лицах увидите неправильную морщину – след печали, горести, сердечной потери, но такая морщина – пришлец между другими собратиями, показывающими, что жизнь постепенно накладывала их на лица добрых людей, как часовая стрелка постепенно переходит от одной минуты к другой, от одного часа к другому, пока укажет полдень, вечер, наконец – *полночь*, добрую ночь! – Да, смотря на такое лицо старушки, я готов сказать вам, что жизнь ее прошла, как ясный весенний день, что было для нее время учиться и помогать матери в хозяйстве, потом время любить, любить тихо, весело, при самом начале любви думая о подвенечном платье и заведении своего маленького хозяйства и переходе для этого хозяйства из кухни матери в кухню мужа, с которым совестно не быть счастливою: так он добр, так он заботлив, так он любит тихо, кротко, нежно. Печаль и горе в жизни таких людей – это облачки, рассеянные на ясном небе. Они, эти люди, по капле пьют столь горькое для многих питье, которое судьба подает каждому из нас при рождении, – *жизнь* – и, допивая его при дверях гроба, среди добрых, милых им людей, с сожалением заглядывают в бокал, ими осушаемый, и жалеют, что в нем остается допить только несколько капель.

Старик с газетами и старушка с чулком, обитатели серого домика, прожили жизнь свою так: это видно было из всего – из их взоров, часто с благодарностию обращавшихся к небу, из тихого пожатия руки, каждый раз, когда старушка проходила мимо старика, из их ясных, добрых лиц, из того, как они смотрели на малюток детей, из того, как эти малютки обнимали их и доводили до слез своими ласками. Он и она изображали собою прекрасный вечер красного дня.

Но девушка? Правда, по ее беленькому, всегда опрятному платьицу, розовым щечкам, голубым глазам, зеленому передничку, стройной ножке, тоненькой талии можно было видеть, что это молоденькая немка, милое, доброе создание, утро дня жизни, ясного и тихого; но, и не бывши Нострадамом⁵, не умея составлять гороскопов, можно было задуматься, глядя на нее, подумать, что едва ли ей предоставляла судьба участь, подобную участи ее деда и бабушки (старик и старушка, жившие с нею, были ее дедушка и бабушка). Из чего можно было так заключать? Она была так скромна, так проста, так мила; от учебного стола братьев весело переходила она к хозяйству, от хозяйства к своему фортепиано, от фортепиано к своему «Sammlung gottesdienstlicher Lieder»⁶ и с таким полным радости сердцем пела вместе с дедом своим: «Deines Gottes freue dich, dank ihm, meine Seele! Sorget er nicht vaterlich, daß kein Gut dir fehle?»⁷

Все так. Но, всматриваясь в нее, в эту девушку, вы заметили бы какую-то невольную задумчивость, когда ей вовсе не о чем было задумываться, увидели бы иногда в глазах ее наворачнувшиеся слезы – не радости и не печали, а чего-то тайного, грустного; она закрывала тогда глаза своею ручкою и потом подымала их к небу; и тогда можно было заметить, что у нее глаза не просто будущей немецкой хозяйки, голубые, но какие-то светлые, яркие, почти лазуревые, способные сверкать чудным огнем. У девушки, которую судьба предназначает

⁵ Нострадам (Нострадамус) Мишель (1503—1566) – французский астролог.

⁶ «Собрание духовных песен», которые поют в лютеранской церкви во время божественной службы и нередко дома в благочестивых семействах.

⁷ «Возрадуйся, о господе, и благослови его, душе моя! Не он ли, яко отец, помышляет о тебе, да ни единое благо преидет мимо тебе?»

просто быть доброю хозяйкою и размерять жизнь свою определенными шагами от колыбели дитяти до кухни, никогда не подымается грудь от такого тяжелого вздоха, никогда щеки не пышат таким неопределенным румянцем, и этот румянец не сменяется потом вдруг такую бледностью. Вглядитесь в нее: и волосы ее не просто русые – они отливают каким-то особенным, бледно-золотистым цветом, и эта белизна лица не просто белизна всякой молодой девушки в семнадцать, восемнадцать лет: это какой-то особенный поэтический цвет, о котором певали немецкие миннезингеры, какая-то прозрачность тела, о которой говорит современный нам Данте: «a travers ton beau corps mon ame voit ton ame» («сквозь твое прекрасное тело душа моя видит твою душу»). Вы видите эту девушку за рукодельем, за учебным столом, подле деда, бабушки; она тиха, тиха, безмолвна, глаза ее опущены; вокруг нее пустота души и сердца, ни одна страсть не смеет приступить к ней, близ нее не слышно пламенного дыхания юноши, который угадал бы ее душу, не слышно и биения сильного сердца, от которого страшными звуками отзывалось бы ее сердце, как струна сама собою вторит струне, на один лад с нею настроенной. Да, эта девушка может умереть, сама не сознавши души своей; ее небесная гостя может безмолвно протосковать всю жизнь в ее прекрасном теле; девушка эта может наконец задохнуться сердцем и душою в объятиях молодого, благопристойно-красивого, ласкового, благоразумно любящего супруга, и жизнь ее тогда пройдет так же тихо и весело, как тихо и весело танцуется немецкий вальс, оканчиваемый гросс-фатером, как протекла жизнь ее бабушки... Но что будет с нею, если злобный демон страстей зажжет ее бытие сильными страстями? Кстати: на учебном ее столике, подле тетрадок, лежит какая-то маленькая книжка; это Шиллер, сумасброд Шиллер, напечатанный в маленький формат, по немецкому обычаю, на серой бумаге; и глаза ее задумчиво устремлены на стихи:

Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glucke!⁸
 Ich bring ihn unerbrochen dir zurucke
 Ich weiss nichts von Glickseligkeit...⁹

И кажется, что старики вовсе не замечают этого проклятого Шиллера, не видят, как читают его украдкой, когда добрые старики думают, что внучка разбирает грамматический смысл какой-нибудь фразы в детском «Lesebuch». Милое создание! брось, ради бога, брось этого Шиллера! Возьми лучше с старинного туалета бабушки твоей «Livlandisches Kochbuch»¹⁰ и читай в ней, как готовят пикули и делают сою...

Но я рассказываю вам столько подробностей о девушке, обитательнице серого домика, а не сказал вам еще ни имени ее, ни кто такие старик и старушка, с нею живущие, ни что это за дети, которые живут с нею и с ними. Объяснить такие семейные подробности – если они вам надобны – не долго: девушка, о которой я рассказывал, – Эмма, Старик – это уже вам известно – ее дед, старушка – ее бабушка; трое мальчиков – ее маленькие братья; и все они и она составляли доброе, счастливое семейство, которое до 1812 года обитало в маленьком красивом домике, в Немецкой слободе, подле огромного дома князя С***.

Биография старика была очень проста и не велика. Отец его был немец, приехал в Россию, когда вызвали из Германии знающих людей для устройства в России почтамтов. Определясь в Москве, он прожил в ней всю жизнь; лет двадцать просидел подле почтамтского окошечка, ежедневно, *кроме воскресных дней*, принимая письма; но при том он успел выпол-

⁸ *Empfange meinen Vollmachtbrief zum Glucke!* – из стихотворения Шиллера «Отречение» (1784).

⁹ Возьми мою доверенность на земное счастье – возьми! Я отдаю тебе ее обратно, нераспечатанную: я не знал наслаждения счастьем...

¹⁰ «Лифляндскую поваренную книгу» (нем.).

нить почти все, что Стерн¹¹ почитал необходимою обязанностию каждого честного человека, то есть: женился, построил дом, насадил сад (только не написал ни одной книги и едва ли читал что-нибудь, кроме немецких газет и деловых бумаг); потом передал и домик, и садик, и небольшое нажитое им имение сыну, который, не имея охоты сидеть в почтамте, сделался учителем немецкого языка в Москве, женился в свою очередь, на старости лет перестал учить немецкому языку и спокойно доживал век свой в отцовском домике, который перестроил он и выкрасил серою краскою. Детей у него не было. Услышав, что племянник его, служивший в Петербурге, умер, оставив дочь и трех сыновей, старик, в первый раз в жизни, оставил Москву, поехал в Петербург, обнял там со слезами сирот племянника, маленькую Эмму и братьев ее, поклялся заменить им отца и привез их в Москву, где в доброй старушке, жене его, Эмма и братья ее точно увидели вторую мать, а в старике деде – второго отца. Уже несколько лет прошло после поездки старика в Петербург. Эмме было уже семнадцать-восемнадцать лет; но благодарная молитва к богу все еще означала для нее каждый вечер, когда день оканчивался, и Эмма, удалясь в свою комнату, надев на свою головку спальный чепчик, размышляла несколько минут о том, что происходило с нею в этот минувший день и не согрешила ли она перед богом чем-нибудь? Не огорчила ли чем-нибудь папеньку и маменьку (так называла она деда и бабушку)? Потом – и то не всегда – она задумывалась, думала несколько минут – сама не зная о чем... «Нет ничего опаснее таких неопределенных дум!» – скажете вы. Может быть; только уверяю вас, что Эмма после того каждый вечер засыпала тихо и спокойно, и никакое дневное событие не перерождалось для нее в привидения ночи: она не видала никаких снов, этих зловещих воронов нашей действительной жизни!

¹¹ Стерн Лоренс (1713—1768) – английский писатель.

II

– Дома ли Эмма, дяденька? – спросила веселая девушка, поспешно входя в залу серого домика.

– Дома, дома! – отвечал старик.

– Где она?

– В саду.

– Бегу к ней!

– погоди, ветреница! Дай поцеловать себя!

– Некогда! Мне надобно пересказать ей тысячу новостей! – отвечала девушка, мимоходом прижимая ротик свой к руке старика, пока он целовал ее в лоб и щеки.

– Тысячу новостей! Они все, я думаю, сойдут на одну: ты, верно, получила письмо от своего Теобальда?

– Вы угадали!

– Что он пишет?

– Он скоро сюда будет; да не задерживайте меня; мне надобно все, все пересказать моей Эмме! – И, бросив свою соломенную шляпку на столик, гостя побежала в сад.

Этот сад можно было назвать небольшим красивым цветником, чем-то похожим на шитье дамских шемизеток, где в стройном порядке нитками вышиты глупые цветочки и листочки. Но скажите: кто из нас не любовался этими нитяными цветочками на груди какой-нибудь милой девушки? Так и эти садики. Они малы, однообразны, пошлы; деревянная клетка, выкрашенная зеленою краскою, обложенная тощими акациями, и несколько кустов малины и смородины, вытянутых по веревке, заменяют в них тенистые аллеи; кривые дорожки, по которым тесно идти втроем и извилины которых рассмотрите вы с первого взгляда, как обман дитяти угадываете с первого слова, – вот вам изображение того, что при маленьких домиках в Москве громко называется – *сад*. Обыкновенно посредине бывает еще в этих садах цветник, где хозяева ставят иногда алебастровых богинь, которых разносчики таскают по Москве на лотках вместе с статушками Наполеона, изображениями Езопа¹², Милосердия, Лаокоона¹³, Надежды и Любви, Купидонами и кошками с подвижною головкою и с мышью в зубах; или сажают тут редкие американские растения, продаваемые в каждой цветочной лавочке. Если у хозяина есть еще дюжина чахлах деревьев – он гордится своим садом. «У вас прекрасная тень», – говорят ему. «Мы тут пьем чай по вечерам», – говорит хозяйка. «Как приятно пить чай вечером на открытом воздухе», – прибавляет гость: как будто этот ящик без крышки в самом деле *сад и открытый воздух*! Но когда такая цветочная шемизетка¹⁴ бывает надета на грудь счастья жизни, – знаете ли, как милы, очаровательны кажутся тогда и клетка с акациями, и дорожки, и цветник! Все зависит от лучей души: свети они радостью – все мило и радостно! Капля росы на листочке, что это такое? – Капля воды; но луч солнца осветит ее, и она загорится алмазом.

Такой садик, о каких мы говорили, был при сером домике; в этот садик побежала гостя искать Эмму, увидела ее в углу садика, подле беседки, и издали закричала ей: «Bon jour, mon amie!»¹⁵ Эмма стояла, низко наклонившись к цветочной грядке, и что-то внимательно рассматривала. Она не слыхала приветствия веселой своей госты, не слыхала шума шагов

¹² Езоп (Эзоп) – древнегреческий баснописец (VI в. до н. э.).

¹³ Лаокоон – в греч. мифологии жрец Аполлона в Трое, задушенный вместе с сыновьями змеями, посланными помогавшей грекам Афиной.

¹⁴ Шемизетка – вставка на груди женских блузок и платьев, манишка.

¹⁵ Добрый день, мой друг! (фр.).

ее, когда эта гостья бежала к ней по дорожкам, и тогда только заметила ее, когда гостья подбежала к ней и зажала ей глаза руками.

– Ах, Фанни, – сказала Эмма (гостью звали *Федосьею*, но это неблагозвучное имя еще в детстве ее было переделано в *Фанни*), – шалунья! пусти меня!

– Что за задумчивость? Не слышать моего голоса, не видеть меня!

– Я смотрела вот на этот милый мой цветочек: погляди – он оживает; я думала, что он совсем пропал, и как это меня печалило, Фанни! Я ходила за ним, как за больным братом; посмотри: он оживает теперь!

– Что за цветок? Какой вздор! Простые васильки!

– Васильки! Бог и им велел жить; и не жалко ли, если они гибнут, не расцветая, не насладившись своею жизнью! А всего-то им жить одно лето...

Эмма опять наклонилась к кусту васильков и выправляла их около тычинки, к которой был привязан кусти́к их.

– Что за ребячество, Эмма! Брось твои васильки; пойдем ходить по саду; я тебе перескажу – ах! милый друг! я тебе все перескажу! *Он* пишет, *он* скоро придет! Уйдем в беседку, Эмма! Я тебе прочитаю! – Фанни выняла из-за шнуровки своей маленькое письмецо, крепко поцеловала его и издали показала Эмме.

– Пойдем в беседку! – сказала она. Девушки обнялись, сели на лавку в беседке; рука Фанни обвилась вокруг шеи Эммы; голова Эммы склонилась на плечо Фанни, и разговор – смесь французских и русских слов – начался вполголоса.

Пока Эмма и Фанни переговаривают о всяком вздоре – а он в девичьих разговорах занимает важное место (да и в чьих разговорах не так?), – я успею сказать вам, когда вы сами еще не догадались, что Фанни была подруга Эммы – молодая девушка, дочь соседа, немца, чиновника, какой-то дальней родни, который женился на русской дворянке, отчего в именах детей его вышла страшная путаница русских имен и немецких прозваний: Федосья Готлибовна, Филипп Готлибович и проч. – Говорили, будто такая же путаница вышла в его хозяйстве и воспитании детей. Фанни была подруга Эммы: вы знаете, что такое значит «подруга девушки»? Меньше, нежели ничто; французская эпиграмма на дружбу, перевод Шекспира сонета с французской прозы в русские стихи! Всего чаще поддружество девичье начинается в пансионах, иногда на балах и танцевальных вечерах. В пансионах оно доказывается тем, что подруги подсказывают друг другу уроки и делятся конфетами; на балах – тем, что они садятся рядом в мазурке и ходят обнявшись, пока музыканты отдыхают, сто раз повторивши одно и то же. Иногда это поддружество продолжается годы и кончится тем, что одна подруга выходит замуж; счастливец вытесняет из сердца ее бедную подругу, как первый луч солнца заставляет бледнеть бедную луну. Иногда... подруги надоедают друг другу, ссорятся и расстаются; иногда свет разрывает нежную дружбу их за порогом пансиона, где одну подругу ждет лакей, облитой золотом, с словами: «За вашим сиятельством маменька изволила прислать карету», когда другой в то же время говорит беззубая нянька или старая кухарка: «Маменька велела мне проводить вас, барышня, домой». Старые девушки редко бывают подругами: злые на все, они искушали бы друг друга, искушав всю надежду свою на счастье в жизни. Но едва ли сыщете хоть одну молодую девушку в мире без подруги. Они читают вместе азбуку любви на заре жизни, когда душе девушки все так чуждо и знакомо, близко и далеко, и все так непонятно и понятно, без отчета голове и сердцу. В маленьком мире ее бывает так темно: сердце еще не освещает пустоты идей, а сквозь душу, как сквозь стеклянную призму, расцветивается между тем все семью небесными цветами, без жара, но и без тени. Под эту призму становится обыкновенно подруга девушки, и – боже мой! – сколько тут является важных открытий ничего, тайных разговоров ни о чем, писем и записок, стихов и альбомов, узоров по канве и пересылки нот, где стихи Жуковского и Пуш-

кина, понятные только перегоревшей душе, поются на голос романса королевы Гортензии¹⁶ и «Фрейшиц»¹⁷ переделан в вальсы и кадрили безбожными врагами музыки! Кто не смеется, найдя в альбоме девушки: «Je vous souhaite de tout mon coeur – toutes sortes de bonheur»¹⁸ либо выписки из Делиля¹⁹ и Сен-Ламбера²⁰? Но мне также бывает смешно, когда я нахожу в нем:

If that high world, which lies beyond²¹
Our own, surviving Love endears;
If there the cherish'd heart de fond,
The eye the same, except in tears —

How welcome those untrodden spheres!
How sweet this very hour to die!
To soar from earth, and find all fears
Lost in thy light – Eternity!

It must be so: tis not for self
That we so tremble on the brink;
And striving to o'erleap the gulf,
Yet cling to Being's severing link.
Oh! in that future let us think
To hold each heart the heart that shares,
With them the immortal waters drink,
And soul in soul grow deathless theirs!²²

И это переписывают в альбом подруге, по складам, детскими каракулями? Сколько смешного в мире!

«Спешу уведомить вас, милая Фанни, что, слава богу, все дела мои в Саратове кончились, я вчера еще выехал бы отсюда, если бы не простудился и если бы доктор не посоветовал мне не пускаться в дорогу с моим кашлем. Зная чувства ваши и судя о них по своим, прошу вас не беспокоиться обо мне и уверяю, что болезнь моя совершенно ничтожна. Вы можете вообразить, с каким нетерпением желал бы я поспешить к вам в Москву, где ожидают меня любовь и счастье. Завидую этому письму, которое увидит вас прежде меня. Мысль о вас никогда не оставляет меня, и нередко даже благотворный сон представляет мне ваш прелестный образ. Недавно был я у дяденьки Богдана Богдановича. Он сам и милое семейство

¹⁶ Гортензия (1783—1837) — супруга Людвига Бонапарта, короля Голландии, мать Наполеона III, была автором стихов и музыки нескольких популярных в свое время песен.

¹⁷ «Фрейшиц» — см. примеч. к с. 113.

¹⁸ Я вам желаю от всего сердца всяческого счастья (*фр.*).

¹⁹ Делиль — см. примеч. к с. 144.

²⁰ Сен-Ламбер Жан Франсуа (1716—1803) — французский философ и поэт, член Академии; его «Catechisme universel» рекомендовались как учебник морали.

²¹ *If that high world, which lies beyond...* — стихотворение Байрона «If that high world» («О, если там за небесами...») из цикла «Еврейские мелодии» (1815).

²² Если в этом мире, возвышенном над нашим миром, переживает нас любовь наша; если там переживут нас любящее сердце и очи любви, уже не знающие слез, — как радостно перейти в эти безвестные небеса, как весело умереть в сей самый час, улететь с земли и увидеть все опасения исчезнувшими в свете твоём, о Вечность! Так должно быть: не за самих себя трепещем мы, стоя на берегу, и, порываемые желанием переплыть бездну, остаемся прикованные тяжкою цепью. Ах! оставьте нам думу, что в неизвестной будущности сердце соединится с любящим его сердцем, упьется с ним водами бессмертия, и душа с душою будут жить вместе, неумирающие!

его любят вас заочно, как сестру и дочь, хотя еще и не знают лично. Папенька и маменька препоручают вам свидетельствовать их почтение вашему дедушке и бабушке».

Таково было письмо, которое прочитала Эмме подруга. Это было письмо от жениха ее молодого и *очень милого человека*, который ходил к ее отцу три года, наконец предложил Фанни руку, был сговорен и уехал в Саратов испросить позволения отцовского на свадьбу и устроить свои дела.

– Не правда ли, как он мило пишет, как он меня любит? – вскричала Фанни.

Эмма молчала.

– Ты сегодня пренесносная, – продолжала Фанни. – Радуюешься над дрянным цветком, а не восхищаешься письмом моего жениха! Мило ли оно?

– Нет! – отвечала Эмма рассеянно.

– Эмма! – вскричала ее подруга, сердито отодвигаясь от нее.

Эмма опомнилась и спешила уверить подругу, что она сама не знает, что говорит.

– Я ведь хорошо знаю тебя, Эмма: ты опять сегодня вздумала мечтать; опять начиталась своего Шиллера!

– Нет! я недели две не читала его и едва ли примусь за него скоро.

– Что ж за причина твоей рассеянности? Посмотри, что за прекрасный день! Как все цветет, как все хорошо!

– Да! – отвечала Эмма, вздыхая.

– Мой Теобальд приедет; мы будем танцевать, много танцевать!

– Я рада! – сказала Эмма, и слезы капнули из глаз ее.

Фанни испугалась, бросилась к подруге, обняла ее, просила простить и клялась, что не хотела огорчить ее.

– Я и не грущу; право, я весела, и ты меня ничем не оскорбила, Фанни!

– Но я говорю о своем счастье, когда ты печальна!

– Я не завидую *твоему* счастью, Фанни; клянусь богом, не завидую! Мне иногда даже бывает жаль тебя.

– Милый друг! что с тобой случилось?

– Прости меня, Фанни! Я печалю тебя моими словами!

– Нет! но я тебя не понимаю: этого прежде не бывало. Я заметила, что с тех пор, как я невеста Теобальда, я вовсе не узнаю тебя!

Поверят ли: беспокойное чувство ревности и вместе самодовольства блеснуло в глазах Фанни; но, прибавим к чести ее сердца, – на одно мгновение.

Ничего этого не замечая, Эмма продолжала печально:

– Не ты виновата в этом, Фанни, – уверяю тебя, не ты. Это глупость, вздор – мечты самые нелепые...

– Ты мне расскажешь их?

– Ради бога, не спрашивай! Я сама их не понимаю и не умею растолковать.

– Тебе скучно?

– Нет! не скучно и вовсе не грустно. Но мое чувство походит на состояние человека, которого посадили в клетку и которого невидимая какая-то сила удерживает между небом и землею. Он сам не понимает, где висит его клетка; вокруг него пустота, и ей нет конца ни края, этой пустоте, Фанни: пустыня совершенная! Иногда по ней пролетает мимо его что-то милое такое, раздаются звуки такие чудные – ах! какие чудные... И вдруг все исчезает; и являются и летят мимо привидения, такие страшные, что он от ужаса закрывает глаза...

В это время где-то в отдалении, по-видимому у соседей, раздались странные звуки: казалось, что они походят на клики отчаяния, на смертный стон, вырывающийся из груди человека, которого душит сильная рука. Звуки эти пронеслись в воздухе и мгновенно исчезли. Эмма задрожала; Фанни также вздрогнула, осмотрелась кругом – все было тихо,

радостно, светло; она не посмела спросить у Эммы, прижавшей лицо свое к ее груди, и начала опять разговор:

– Милая Эмма! ты будешь неблагодарна, если не согласишься, что тебя все любят, обожают, что ты составляешь радость и счастье своего семейства, что я тебя люблю... Неужели тебе этого не довольно?

– Все знаю, все чувствую и боюсь, не грех ли мое несчастное чувство, не значит ли оно неблагодарности к моим родным... к тебе, моя Фанни... к самому богу...

– Эмма! ты любишь кого-нибудь и скрываешь от меня?

– О, нет! уверяю тебя! – Эмма подняла голову свою и прямо в глаза смотрела своей подруге.

– Верю теперь; но что же сокрушает тебя?

– Не знаю. Когда дедушка ласкает меня, мне кажется, что это в последний раз, что завтра Эмма останется одна, одна; когда братья весело прыгают вокруг меня, мне думается: они скоро покинут тебя, и каждый из них скоро и навсегда забудет об Эмме.

– Зачем же печалишь себя такою грустною мыслью, Эмма? Милый друг! у тебя будет свой *Теобальд*! Не поверишь, как радостно теперь я думаю, что он любит меня; что мы с ним будем жить, так долго, долго, и все будем любить, и все будем счастливы!

– Ах, милый друг! я испугалась бы такого чувства и не понимаю, как может оно тебя радовать! Мужчины – я боюсь их: они пугают меня, все, сколько их ни видала! Их любовь – прости меня – любовь к тебе Теобальда – избави боже! Нет, нет! мне не надобно такой любви...

– Ты сумасбродишь!

– Может быть; но в душе моей я чувствую что-то непонятное мне самой. Послушай: говорят, что цветы не живут полною жизнью, что они только *растут*. Я не верю этому. Всякий раз, когда я смотрю на мои цветы, когда запахом их навевает ко мне ветерок, когда притом птичка так весело напевает мне своим голоском, – тут отзывается душа какая-то, душа в цветах, в звуках – говорю я самой себе. Шиллер знал эту душу цветов и звуков. Он говорил о ней, а у людей я этого не вижу! Когда цветок так нежно высказывает мне жизнь свою, когда птичка так мило выпевает ее мне – как же должны бы высказывать, выражать ее люди, когда им бог дал глаза и слова! Какова бы должна быть *любовь людей*! Мне кажется иногда, что я создаю себе кого-то, какое-то привидение, из всего, что очаровывает меня в природе; я даю ему образ человеческий, передаю ему *свою душу* – он мне больше, нежели подруга – он *друг мой* – нет! еще больше: он так любит меня, что друг так любить не может... и я не знаю, как назвать его...

– И это привидение, верно, походит на мужчину, а не на подругу?

– Ах, да! Но не смейся надо мною: оно не походит ни на одну подругу мою; уверяю тебя, что оно не походит и ни на одного мужчину, каких я знаю. У него глаза светятся небом; у него щеки алеют, как заря; он *не говорит мне ничего*, а я *все понимаю*.

– И мой Теобальд точно таков!

– Ах, нет! Он не таков! Твой Теобальд говорит тебе, как говорят другие мужчины – *ты* не он, а он *не ты*! Мое привидение такое воздушное, что я дышу им, и если бы надобно мне было говорить с ним, я называла бы его *я*, а себя *ты*! Он жил бы моею жизнью – он умер бы, когда не видал бы меня с собою... – Эмма понизила голос. – Он не уехал бы в Саратов, не пожалел бы своего кашля и не писал бы ко мне «вы»! Я разлюбила бы его за все это, а без любви моей он не мог бы существовать. Его создала любовь моя, и с смертью моей любви – умрет он!

Фанни невольно задумалась при словах подруги.

– Милый друг! ты мечтаешь! – сказала она. – Того, что создаешь ты себе в воображении – нет в мире. Но любовь моего Теобальда прекрасна; она совершенно счастливит меня...

– Что это за любовь, Фанни, если ты могла существовать прежде, не зная любви своего Теобальда! Прости меня, Фанни, – я люблю тебя и не хотела огорчать; но ты сама спрашивала меня – я все сказала тебе. Видишь ли, отчего письмо твоего жениха холодит меня, как кусок льду, отчего мне так тяжело смотреть на людей, особенно на мужчин, с их дерзкими взорами, с их любовью, такую грубою... Нет! мне не надобно такой любви!

– Но тебя отдадут замуж, и, может быть, за того молодого гусара, который говорил с нами, когда мы были на вечере у М***. Он от тебя в восторге – он же такой хорошенький!

– Я никогда не отдам ему руки своей. Дедушка не станет принуждать меня. Этот гусар надоел мне ужасно: он всякий день ездит мимо нас и глядит к нам прямо в окна. Неужели он любит, когда может глядеть на меня, как будто на хорошенькую куклу, и еще прямо, разглаживая свои усы и щеголяя лорнетом? Урод! Нет! ваши люди, ваши мужчины мне не нравятся... Если бы можно было мне отказаться вовсе от света, когда не будет дедушки и бабушки, и если бы я была русская, я – пошла быть может быть, в монахини. Там святая вера наполнила бы всю мою душу, так наполнила, что все привидения были бы из нее вытеснены... Если бы я могла полюбить здесь кого-нибудь на земле, – Фанни! я умерла бы: кто поймет мою любовь, когда я сама ее не понимаю? Фанни! я чувствую, что мне не жить здесь долго; о счастье я и думать не смею: люди не знают счастья, и мне кажется, что все шепчет мне: Эмма! тебя ждут в родной стороне! Ты здесь пришельца! Не люби так, как любят люди! И небесный дождь, когда он падает на землю, делается грязью...

Тут снова послышались пронзительные звуки, каких прежде испугалась Фанни. Теперь можно было яснее расслушать, что это были отчаянные крики человеческие. Эмма снова задрожала.

– Что это такое, Эмма? Уже в другой раз мне это послышалось!

– А я всякий день слышу, и мне кажется, что судьба моя откликается ими, когда я спрашиваю у нее: есть ли на земле счастье для Эммы?

– Растолкуй мне, что это такое?

– Это кричит сумасшедший.

– Какой сумасшедший?

– Разве ты не слыхала, что у соседа нашего, князя С***, года два тому сошел с ума его сын?

– Да, такая жалость! Говорят, он был премилый молодой человек.

– Я его никогда не видала. Князь всегда жил в Петербурге и до приезда в Москву с сумасшедшим сыном долго жил еще в своей деревне: Только прошедшею зимою поселился он у нас по соседству, в своем доме. Сына его взялся лечить какой-то ученый доктор, выпитый из Берлина. Но успеха нет. Молодого князя поселили с самой весны в садовом павильоне; говорят, он беспрестанно приходит в бешенство и всегда прикован на цепи. Он кричит иногда так отчаянно, что у нас, особенно поутру и в вечеру, все бывает слышно.

– Какой ужас!

– Что за ужас? Сначала я сама пугалась его крика, а теперь привыкла, хоть невольно содрогаюсь каждый раз, когда услышу этот ужасный крик. Мне все кажется, что этого бедного молодого человека мучат, мучат за то, что он был лучше других людей, и он просит пощады у бесчеловечных, а его не слушают.

– Это расстроит меня на целый день, Эмма, – и твой разговор притом... – Фанни задумалась и тихо промолвила: – Да, можно бы любить иначе, нежели любит мой Теобальд. – Она соскочила с скамьи. – Пойдем в комнаты! – сказала она с принужденною усмешкою и потащила с собою Эмму по садовой дорожке.

III

Прошло несколько дней после разговора двух подруг, и опять задумчиво, с неопределенною мечтою Эмма гуляла в садике своего дедушки. Прекрасен был день, ясно было небо; любимцы Эммы, цветы, казалось, хотели сказать ей: «Будь весела, наша милая Эмма! о чем ты грустишь? Посмотри: мы ожили твоим старанием. Повеселей же, наша Эмма!»

Но Эмма ничего не слыхала, ни на что не смотрела; она сидела с своею работою в беседке, иногда устремляя взор на любимую грядку цветов подле беседки, где великолепно цвел теперь василек и, казалось, гордился между другими цветами, как будто хотел сказать им: «Меня любит Эмма!»

Вдруг необыкновенный шум привлек внимание Эммы. Она глядит – нет! она не ошибается: среди ясного полудня не являются привидения! Но что же это такое, если не привидение? – Сверх каменной ограды отделявшей княжеский сад от садика дедушки Эммы, появилась растрепанная голова: рука чья-то уцепилась за верх ограды: это человек – он лезет на ограду; с руки его перемахнулась в садик железная цепь... Другою рукою ухватился он за ограду – другая цепь повисла на ограде. Он останавливается, глядит назад, оборачивается в садик; бесчувственно глядит он потом на солнце, на небо, на деревья, на цветы...

Эмма хотела бежать – холодом обдало ее; ноги ее подкосились. Беги, Эмма! беги, моли своего ангела-хранителя спасти тебя! Нет! силы оставляют Эмму! Ужас лишает ее возможности бежать; она не в бесчувствии, но как будто гремучая змея глядит на нее и очарованием глаз своих уничтожает у нее даже самую мысль двинуться с места.

Внимательно, не понимая сама, что делает, Эмма устремляет взоры свои на незнакомца; не может отвести от него глаз своих. Она видит ясно, что это какой-то молодой человек: он одет в сюртук, глаза у него голубые, волосы русые, но – великий боже! какое лицо – бледное, худое, какие глаза – дикие, мутные! Волосы его всклочены, падают на плеча, нерасчесанные, в беспорядке; на руках его цепи; платье его разорвано. С минуту держался он за забор и глядел назад, в сад княжеский., Вдруг в саду княжеском раздался голос: «Вот он! ловите его!» Лицо незнакомца обезобразилось судорогами. Держась одною рукою за ограду, он схватывает другою какую-то огромную палку, взмахивает ее и кидает в сад княжеский. В одно время раздался в саду пронзительный вопль, и с ним смешался безумный хохот незнакомца! Быстро вскакивает он на ограду с криком, с диким хохотом прыгает в садик дедушки Эммы, мгновенно поднимается, кричит, бежит иступленно, перепрыгивает через кусты, топчет грядки цветов и, стремится прямо к беседке, где сидит Эмма..

После первого мгновения бесчувственного, безотчетного страха. Эмма поняла, что страшный незнакомец должен быть молодой сумасшедший князь С***, что, вероятно, он вырвался из рук своих смотрителей, и – пронзительный вопль, слышанный ею в княжеском саду, означал, может быть, убийство приставленного к нему человека, что он теперь бежит в неистовстве, в бешенстве – сумасшедший, безумный, убийца! Еще раз мысль о спасении мелькнула в голове Эммы, но она не в силах пошевелиться с места...

И поздно! С безумным воплем он стремится прямо в беседку; нога его топчет и уничтожает милые васильки, любимцы Эммы, цепи его глухо ударились о беседку – бежать нельзя! Безумец загородил собою вход, мутные глаза его пробежали по маленькому пространству беседки и устремились прямо на Эмму. Еще мгновение – он растерзает, задушит Эмму своими иссохшими руками. Вид человека приводит его в бешенство; он видит в нем своего врага, и бессмысленное выражение лица его переходит в ярость – одно чувство, оставшееся ему от прежнего состояния человеческого. Злость человека и сила зверя – удел безумия...

Мысль о смерти была первою мыслью Эммы, но – какую чудную перемену ощущает она в себе? Неужели после того, когда человек вмести в груди своей всеобъемлющую *мысль*

смерти, все ничтожное, все земное, все, что делало его братом червю земли, – исчезает в нем, и он, свободный, вольный в ощущениях и поступках, переходит к тому, что носит на себе знамение неземного, только к тому, что бесконечно и необъятно, как небо, говоря земле, подобно пери²³, улетающей в растворенные врата рая: «Прости, земля»?

Эмма вдруг теряет весь страх свой, все свое опасение: в безумце, который стоит перед нею, виден ей не сумасшедший убийца, но бедный больной, страждущий, слабый человек, и сквозь его обезображенное болезнью и страданиями лицо светлеет для нее какой-то прекрасный юношеский образ, не страшный, но как будто умоляющий ее о пощаде, о спасении: падший ангел, еще не вовсе утративший следы своего небесного происхождения. В самой себе она чувствует необыкновенную, непонятную для нее перемену, как будто до нее коснулся волшебный пруттик какого-нибудь Просперо²⁴, и вместо крови потекло по ее жилам что-то горящее, пламенное и стало брызгать лучами света и огня из глаз ее – и глаза ее засветились этим непобедимым светом, и руки ее сделались проводниками небесных огней, которыми гремят небеса; и эти молнии, тайно, невидимо от взоров людских, ввились во все сокровенные изгибы души Эммы; кровь ее быстро закипела по всем ее жилам и отразилась на щеках ее жарким румянцем!

Смело поднялась Эмма с скамейки, на которой сидела, протянула руку и голосом, не похожим ни на повеление, ни на просьбу, ни на гнев, скоро и громко произнесла: «Кто вы? Что вам здесь надобно?»

Какое непостижимое действие произвели эти слова, этот голос на безумца! Казалось, что они сверкнули огнем, ударились прямо в грудь его, причинили ему нестерпимую боль. Дикость выражения в лице его исчезла и заменилась болезненным ощущением; мутные глаза его почти закрылись веками, как будто он не в состоянии был смотреть на Эмму, прежде, в безумии своем, смотревши прямо на солнце. Он ухватился обеими руками за грудь свою и со стоном произнес: «Ах!»

Теперь он уже не был тем страшным незнакомцем, который вырвал из стены крепкие цепи свои и, взмахнув тяжелой палку одною рукою, убил своего приставника. Он несчастный, больной, слабый юноша, лишенный единственного дара божия, которым человек отличен от животного; он меньше, нежели зверь: он *сумасшедший!*

Эмма видит изменение лица его; непобедимое чувство сострадания заступает в ней место страха и ужаса, заступает невольно, не спрашиваясь ее рассудка. Более: ей кажется, что этот бедный безумец как будто знаком был ей давно, что она где-то знавала его, что вопли его, издавна слышанные ею, были призывным кликом: «Эмма! спаси меня!» Он едва держится на ногах, и Эмма бросается к нему, хочет поддержать его, говоря: «Что с вами случилось?» Но едва рука ее коснулась незнакомца, колена его дрожат, он падает перед Эммою и, закрывая глаза руками, говорит жалобным голосом: «Пощади меня; не мучь меня – я не виноват! Они терзали меня нестерпимо!»

Эмма не понимала, что ей делать. Она решилась удалиться, сказать дедушке, призвать людей, ибо вовсе не знала, как должно обходиться с сумасшедшими. Что она теперь одна в саду с неизвестным ей мужчиною – ей вовсе не приходило этого в голову: она видела не мужчину, но какое-то жалкое существо человеческое, покорное ей, просившее у нее пощады. Только мысль о том, как и чем пособить бедному страдальцу, заняла всю ее душу. Она решилась, однако ж, идти из сада. Но едва Эмма сделала один шаг, сумасшедший стал перед нею на колена, сложил руки на груди, тихо промолвил: «Не уходи, не уходи – побудь здесь!» – и в бессилии упал он на траву.

²³ *Пери* – в иранской мифологии волшебное существо в образе крылатой прекрасной женщины, отвернувшееся от мрака и стремящееся к свету.

²⁴ *Просперо* – волшебник, персонаж пьесы Шекспира «Буря».

Эмма испугалась, опять подошла к нему, наклонилась и заботливо спрашивала:

– Что с вами? Скажите, что с вами случилось?

– Мне больно – здесь (он указал на грудь) – и здесь больно (он указал на голову)! Не уходи – без тебя они придут и возьмут меня...

– Нет! они не придут; скажите, что вам надобно?

– Ничего, ничего! Приложи руку твою к моей голове; слышишь ли, как она болит у меня?

Эмма приложила руку свою к голове безумца. Он дышал тяжело, но вдруг открыл глаза, и улыбка – может быть, давно небывалый гость – оживила лицо его. Вдруг он приподнялся, сел на траве и тер глаза руками, говоря:

– Мошки, мошки! Они лезут мне в глаза, отгони их!

Эмма стояла подле него и начала махать платком, опасаясь раздражить сумасшедшего своим непослушанием.

– Нет! рукой, рукой, – говорил он, – сделай милость, махни рукой, а не этой тряпицей: мне от нее холодно; теперь стало тепло, тепло – ясно, ясно – ах! как хорошо: мошки улетели!

В это время шум нескольких голосов раздался подле садовой калитки. Эмма оборотила голову и увидела дедушку. В своем колпаке и халате старик спешил в садик и бежал по дорожке; за ним поспешно следовали трое или четверо незнакомых людей, один из них был одет в княжеской ливрее. Эмма поняла, что княжеские слуги пришли за сумасшедшим, и испуганный дедушка бежит к ней на спасение, услышав об угрожающей ей опасности. Мысль о спасении и страх снова взволновали всю душу Эммы, едва увидела она дедушку и княжеских людей; она в то же мгновение почувствовала и то, как неприлично ей было оставаться в саду одной с неизвестным человеком и как опасно быть с сумасшедшим.

В одно мгновение бросилась она от бедного безумца, как молния, достигла до своего дедушки и трепеща прижалась к его груди.

– Ох! милый друг мой! – говорил старик, едва не задыхаясь и обнимая Эмму, – как я испугался! Не испугал ли он тебя? Какое несчастье! Можно ли было предвидеть!

– Успокойтесь, милый дедушка! Я испугалась немного; но он такой смирный; он ничего мне не сделал.

– Слава богу! Его сейчас возьмут княжеские люди! Пойдем скорее домой. Как ужаснули они меня своими рассказами: прибежали опрометью, говорят, что сумасшедший убежал в наш садик, что никогда еще не был он в таком бешенстве – сорвался с цепи, ушиб своего приставника...

– А не убил, дедушка?

– Нет, только ушиб больно: бросил в него палкой с размаха; других людей на тот раз не было при нем... – Старик спешил вести Эмму, но страшный крик остановил их и заставил оборотиться.

Едва удалилась Эмма от сумасшедшего, он громко вскричал:

– Где же Тот, кто был здесь со мною? Казавшись прежде слабым, изнеможенным, он как будто вдруг получил опять всю свою неистовую силу; глаза его помутились, волосы стали дыбом; он вскочил и, увидя подходящих к нему княжеских слуг, страшно заскрежетал зубами.

– Ваше сиятельство, – сказал один из слуг, – пожалуйста домой.

Сумасшедший смотрел на него молча.

– Не извольте противиться, – сказал другой слуга. – Их сиятельства приказали вам пожаловать домой.

Сумасшедший захохотал. По знаку, данному старшим из слуг, трое вдруг бросились на безумца и схватили его. Он закричал раздирающим душу голосом, и не успели оглянуться, как двоих сшиб он с ног и отбросил от себя далеко, третьего схватил он за горло, повернул

через себя, придавил его к земле и со смехом начал душить. Старый управитель отчаянно завопил:

– Ванюша, Ванюша! он задушит его! Помогите, помогите, ради господи помогите!

Старик не смел броситься сам, только кричал:

– Люди, люди! – и совершенно потерял голову.

Двое других слуг едва могли подняться и не в состоянии были помочь своему товарищу. Дедушка Эммы громко читал «Vater unser»²⁵ и не знал, что ему предпринять: бежать ли, помогать ли?

А Эмма? Весь страх, вся робость, какую чувствовала она, снова вдруг исчезли. Она вырвалась из объятий дедушки, безотчетно бросилась прямо к сумасшедшему и вскричала:

– Что вы делаете, князь?

Непостижимое изменение! Сумасшедший оставил слугу, которого душил руками, и робко поднялся с земли, потупил глаза, сложил руки. Эмма казалась божеством, перед которым уничтожаются его злость и сила. Дедушка, изумленный ее неожиданным поступком, признавался потом, что в это время он не узнал своей кроткой, тихой Эммы, что лицо ее засветилось чем-то неестественным, что, оживленная чем-то непонятным, она, с своим скромным, нежным лицом, своею легкою талиею, когда в то же время в быстром порыве ветерок сорвал с груди ее легонький платочек, – походила на одного из Клопштоковых²⁶ бессмертных духов. Старик любил читать «Мессиаду» и очень любил свою Эмму: не удивляйтесь его уподоблению.

– Сядьте здесь и будьте спокойны! – продолжала Эмма, все еще сама не понимая, что говорит, но смело указывая сумасшедшему на дерновую скамейку. Он безмолвно повиновался.

– Можно ли так бесчеловечно поступать! Вы убили бы этого бедного человека!

– Убил? А что такое «убил»? Они били меня, они мучили меня! – Сумасшедший заплакал, как дитя. – Я не стану драться, – продолжал он, смотря на Эмму, – если ты этого не хочешь, – только не сердись.

– Как можно хотеть убивать людей! Но сидите же спокойно.

– Но не уходи же от меня, – сказал сумасшедший, протягивая к ней руки, – и не вели им меня трогать.

– Будьте только смирны.

– У меня опять заболела голова. Дай мне свою руку – вот здесь у меня болит! – Он протянул свою руку к Эмме; она бестрепетно дала ему свою руку, и он приложил ее к голове.

– Лучше ли вам теперь?

– Лучше. – Он отнял руку Эммы от головы своей и с улыбкою, внимательно рассматривал эту милую, нежную ручку.

В изумлении от всего происходившего стояли дедушка и слуги княжеские. Дедушка тихонько подошел к Эмме и дернул ее за платье. Эмма оглянулась.

– Эмма! что ты делаешь! Отойди от него, пойдем домой! – сказал дедушка.

– Как же оставить его? – отвечала тихонько Эмма, печально улыбаясь. – Вы видите, что он только меня и слушается.

– По-немецки говорит! – сказал сумасшедший, улыбаясь и указывая пальцем на старика.

Эмма отняла у него свою руку; управитель и слуги осмелились опять подойти ближе. Эмма отступила.

– Ваше сиятельство... – произнес управитель.

²⁵ «Отче наш» (нем.).

²⁶ Клопшток Фридрих Готтлиб (1724—1803) – автор религиозно-эпической поэмы «Мессиада» (1751—1773).

Одной рукой сумасшедший ухватился за беседку, и она вся затрещала от его усилия выломить из нее палку. В ужасе отбежали слуги княжеские. Эмма снова произнесла:

– Вы обещали быть спокойны, – и сумасшедший сел на скамью, будто послушливое дитя.

– Как же мне уйти отсюда? – спросила Эмма у дедушки.

Слуги подошли к старику.

– Ваше высокоблагородие! – сказал ему тихо управитель, – позвольте мне доложить об этом их сиятельствам. Я тут ничего не разумею, изволите видеть. Надобно позвать нашего доктора.

Но доктор шел уже в это время по садовой дорожке. Один из слуг успел его обо всем уведомить. Доктор был старый человек в синем старомодном фраке. Он отрекомендовался дедушке Эммы с старинною немецкою оригинальностью.

– Извините, любезный сосед, – сказал доктор, – а может быть, когда узнаем друг друга поближе, и любезный друг, извините, что вас обеспокоил наш больной негодяй! Вы не поверите, как хитр бывает человек, когда лишится употребления рассудка. За два часа я оставил его такого смиренного; он пил лекарства и во всем меня слушался – а между тем, вообразите, что он напроказил после того!

– Объясните мне, господин доктор, что все это значит? – говорил дедушка, указывая на Эмму, стоящую подле князя, и на князя, который смотрел на нее, улыбался, был тих, спокоен и, казалось, с жадностью глотал воздух, сделавшийся для него целебным от присутствия Эммы.

Дедушка наскоро пересказал доктору все события. Доктор угрюмо задумался, долго качал головою, долго чертил палкою по песку, наконец поднял голову и протяжно отвечал:

– Изъяснить, любезный сосед, не откажусь, но прежде всего позвольте мне, как честному человеку, уверить вас, что я не употреблю во зло вашей доверенности, и потом спросить: сколько лет вашей внучке?

– Я потерял дорогою, ехавши из Петербурга, или в Петербурге где-нибудь календарь, в котором был записан день ее рождения.

– О дне ни слова, но год...

– То-то, и года-то хорошо не знаю; должно быть, ей восемнадцать или девятнадцать лет.

– Характер ее?

– Ангельский.

– Это сказано неопределенно; судя по виду, должно думать, что характер ее *холеро-меланхолический*.

– Она одно утешение наше со старухою.

– Хм! утешение! И одна внучка у вас?

– У нее есть еще братья, маленькие, премилые шалуны.

– Хм! – повторил опять доктор. – Она должна быть набожна и, верно, не любит общества мужчин?

– Не знаю, к чему клонятся ваши странные вопросы, г-н доктор? Мы еще так мало знакомы.

– К тому, сударь, к тому – черт побери! Зачем вы давно не выдали замуж вашей внучки! Zum Teufel!²⁷ На что держать дома этот гнилой товар!

– Г-н доктор! моя Эмма ангел скромности, добродетели и невинности.

– Да я лучше вас самих могу сказать вам все это, сударь, я – ученик и друг великого Месмера²⁸! – Доктор приподнял свою шляпу. – Вы тут ничего не понимаете, а я понимаю. –

²⁷ К черту! (нем.).

²⁸ Месмер – см. примеч. к с. 102.

Доктор утер слезу, выкатившуюся из его глаза. – Черт побери! Ведь вы желаете счастья вашей внучке? Так зачем же вы давно не выдали ее замуж?

– Г-н доктор!

– Господин сосед! потому, что вы должны были уговорить ее выйти замуж. Неба с землей мешать не надобно. На земле надобно думать о земле, и если неземное мешается там, где его не спрашивают, выходит дребедень – вы этого не понимаете, а я понимаю. Лечить можно всякой всячиной: я вылечивал чахотку от любви пилюлями из ипекакуаны²⁹; *tinctura regia*³⁰, Перувианский бальзам и Боэргавов сахар спасли бы дурака Вертера³¹, и этого сумасшедшего я вылечил бы, да теперь все пропало! Теперь ведь уж нельзя их разлучить – он умрет! Эх, сосед, сосед! как можно позволять девчонкам гулять в садах, подле которых содержат сумасшедших!..

²⁹ *Ипекакуана* – распространенное в тропических странах травянистое растение; его корень применяется в медицине.

³⁰ царская настойка (*лат.*).

³¹ *Вертер* – герой романа Гете «Страдания юного Вертера» (1774); покончил с собой из-за любви.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.